

АЛЕКСЕЙ К. СМИРНОВ

Деревянные лошадки Апокалипсиса

РАССКАЗЫ



Алексей Смирнов

**Деревянные лошадки
Апокалипсиса. Рассказы**

«Издательские решения»

Смирнов А. К.

Деревянные лошадки Апокалипсиса. Рассказы / А. К. Смирнов —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-740365-2

В сборник вошли рассказы разных лет: мистические, фантастические, сюрреалистические — самые разные, но в большинстве своем проникнутые черным юмором и сарказмом.

ISBN 978-5-44-740365-2

© Смирнов А. К.
© Издательские решения

Содержание

Ядерный Вий	6
Далеко-Близко	21
1	21
2	23
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Деревянные лошадки Апокалипсиса Рассказы

Алексей Константинович Смирнов

Фотограф Сергей Семкин

© Алексей Константинович Смирнов, 2017

© Сергей Семкин, фотографии, 2017

ISBN 978-5-4474-0365-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Ядерный Вий

Нынче мне, зависшему везде и нигде в объятиях сплошного Космоса, достаточно времени для ленивых, невеселых дум. Правда, иногда выручает чувство юмора, которое прорезалось с неприличным опозданием – в земных пределах мне было совсем не до смеха. Да и здесь надежды, несбыточные наверняка, мешают предаться веселью в полной мере.

Вопрос об образе и подобию остался без ответа. С одной стороны, крестить меня не отважились. С другой – поп-расстрига, приверженец демократических идей, шепнул: «Конечно! По образу и подобию – и ты в том числе». Я уверен, что интимно-значительным шепотом он маскировал свои сомнения и растерянность. С тех пор у меня не раз возникало желание представить оригинал, но все попытки были тщетны. Глядя на себя в зеркало, я не мог отделаться от мысли, что свидание с оригиналом не сулит ничего хорошего. Кстати, о зеркалах. Все, что принято приписывать этим штуковинам – я имею в виду их способность отражать убийственный взор и тем самым истреблять носителя – все это на поверку оказалось враньем. Зеркала мне нипочем: уж как я ни таранился – хоть бы хны. Закралась даже сумасбродная, гордыней внушенная мысль: что, если я неподвластен обычным физическим законам, являясь существом надмирным, заблудившимся членом некоего – пусть даже второстепенного – небесного воинства? К сожалению, слишком многое подтверждало мою материальную природу – порой весьма болезненно. И в согласии с ней обратимся к фактам, которые часто превосходят загадочностью многие домыслы и фантазии. Тем более, сейчас в моем арсенале есть толковое объяснение, выставляющее меня кем-то вроде Щелкунчика, который хрупаёт скорлупками уязвимых, тщательно скрываемых душ и губит эти души притоком свежего воздуха.

Итак, первым фактом, за которым потянулись гуськом все прочие, стало знамение. Не то чтобы совсем по соседству с Диканькой и Миргородом, однако и не столь уж далеко от них обрушилась Звезда Полынь. Кое-кто ударился в панику и заключил, что это та самая Полынь, о которой имеется пророчество. Однако малодушные ошиблись: катаклизму не сопутствовали другие обещанные явления, и в планы Небес входило лишь показать, что, собственно, такое эта невнятная Полынь, как ее следует понимать и какого характера будет предсказанное неприятное событие, что случится еще неизвестно когда и будет предварено ревом ангельской трубы. С этой единственной целью злополучную станцию сделали наглядным пособием. Взрыв, конечно, аукнулся. Нечто подобное наверняка случалось и в былые времена – во всяком случае, матушка моя, известная в округе как Одноглазка, была особой с явными отклонениями. Оживляя известный миф, она калечила односельчан кротким взором единственного глаза, оставляя сиротами их парные органы. Отсыхали руки, ноги, уши, лопались мужские придатки – в общем, всем такое дело в конце концов надоело, и матушку изгнали в леса, едва не забив кольями и вилами насмерть. Этот лес в дальнейшем верой и правдой хранил меня от различных акций, эвакуаций и – в некоторой степени – дезактиваций. Сейчас, когда сняты печати – земные, земные печати, с документов, – мы знаем, что выбросы были и прежде, и никому до них не было дела – вот и вышло, что научно-технический прогресс весьма помог размножению всякой нечисти – леших, домовых, водяных, разномастных ведьм и колдунов, кикимор, василисков и Бог ведает, кого еще. Не иначе, как кто-то из этой братии оприходовал маменьку, а потом еще взрыв поучаствовал в генной инженерии, не смыслив в ней ни пса – так я появился на свет. Можно обобщить и подвести черту: чего нам теперь бояться? ведь самое страшное уже произошло: мы родились.

Это событие приключилось в грязной сырой землянке, где на протяжении вот уже нескольких лет ютилась матушка. В качестве повитухи позвали одну из кикимор – то есть гермафродита, покрытого черным мехом и оттого сильно похожего на гориллу, скрытную и тупую. Известно, что кикиморы склонны скорее похищать малых детей из люлек, чем способство-

вать их рождению, но в нашем лесу все было шиворот-навыворот, и роды прошли успешно. Кикимора отлично справилась с задачей, как будто только тем и занималась всю свою дремучую, хищную жизнь. Набилась полная горница разных дьяволов, рогатых и увечных, каждому хотелось поглазеть: чем таким разродилась легендарная затворница? Кто-то при виде меня завопил дурным голосом: «Эй, вы только гляньте – он родился в рубашке!» Сей возглас был полон зависти – ведь кто-кто, а сам вопивший родился некогда не только без рубашки, но даже без приличной шкуры, и вскорости покрылся прочной, словно броня, чешуей, иллюстрируя те разделы медицины, что посвящены редкому заболеванию «ихтиоз». Однако зависть была преждевременной. Сразу родился послед, и стало очевидно, что никакая на мне не рубашка, а нечто совершенно другое, доселе не виданное. Гул затих, я вышел на подмости. Быть или не быть? Любопытная публика отпрянула, так как истина мало-помалу уже открывалась. Уже было ясно, что это не рубашка, а невозможные, кошмарные веки, и я завернут в них, будто в пеленку. Старый седой волколак, страшный настолько, что никто не знал, из кого он, собственноручно, мутировал, перекрестился и напряженно крикнул. Было очень тихо, если не считать ритмичных отрывистых гудков, к которым все давным-давно привыкли и воспринимали как естественный фон. Эти резкие, неуместные в живой природе звуки издавались специальными пищалками, что когда-то были разбросаны с вертолетов по всему лесу и предупреждали растяп и ворон о радиоактивном заражении местности.

Потом вокруг на все лады заголосили: «... Вий! Вий!» и бросились прочь из землянки, застревав в тесном дверном проеме. Визг, лай и мат стояли неслыханные, в стороны летели клочья шерсти и волос пополам с брызгами слюны и крови. После шептались, будто по весне лично мейстер Леонгард посетил инкогнито наш лес, имея намерение сойтись с маменькой и ужаснуть подлунный мир своим отродьем. Возможно, эти сплетни распускал, дабы отвести от себя подозрения, мой подлинный папаша, так и оставшийся неизвестным.

...Маменька валялась без сил, я скатился в подставленные загодя ясельки и смахивал на озябшую мохнатую дыньку. Стараясь высвободиться из плена прилипших век, я робко надавливал недоразвитыми ручками и ножками то в одно, то в другое место – все впустую, веки не отклеивались. С нижними все было в порядке, но верхние спускались до пят, образовывали мешочек для ног и таза и захлестывались со спины на темени. Получался уютный кокон с единственным изъяном: в него не поступал воздух, так что ни о каких первых криках и вдохах и речи быть не могло, а мои попытки прорваться к свету были обречены на провал во тьму. Спасся я благодаря вмешательству дряхлых колдунов, которые не смыслили то ли по причине старческой немощи, то ли попросту ничто под луной уже не в силах было их напугать (ведь они родились) – старцы пришли в числе первых, как утверждали потом – ведомые одинокой и яркой звездой. Дрожащими корявыми пальцами самый древний из волхвов склонился к яслям, снял с меня веки, словно кожуру с банана, и некоторое время держал на вытянутых руках, не забывая, впрочем, смотреть в сторону. Двое других, так же вслепую, придвинулись бочком, подхватили меня – уже, уже начавшего издавать огорченные звуки – и уложили навзничь, а первый снова опустил веки, укрывшие меня подобно двум крылам, но на сей раз предусмотрительно оставил между ними маленькую щель для носа-кнопки. Так что я счастливо избежал опасности задохнуться в невинном младенчестве и никогда не вкусить невинности зрелой и осознанной.

Чуть погода, осмелев, вернулась часть соседей. Я сопел, негромко хныкал и вяло шевелил зачаточными конечностями. Забегая вперед, сообщу, что они у меня так почему-то толком и не развились – как и само туловище. Я не познал радости самостоятельного передвижения, и меня вечно кто-то куда-то катил – как правило, с корыстными целями. Зато голова разрослась сверх меры, а нос от постоянных перекачиваний загнул крючком, и я при желании всегда мог пошарить в нем своим длинным язычищем. Итак, я лежал и сопел, а гости опасно совещались, гадая, как со мной поступить: утопить без промедления или все-таки рискнуть и опробовать силу взгляда моих очей. Победили прагматики, которые рассудили, что спихнуть

меня в пруд они всегда успеют, тогда как таланты мои, если такие обнаружатся, могут стать настолько полезными для дела общего выживания, что кое на что придется закрыть глаза – в буквальном смысле слова.

Притащили звеньевой спецкоманды, на днях захваченного нашей диаспорой в плен. Я, по-моему, вскользь уже поминал частые экспедиции, вторгавшиеся в наши края с Большой Земли для проведения различных оздоровительных акций. Любая подобная акция, будь то санобработка или какой-нибудь там забор идиотских проб, предполагала поимку или физическое уничтожение каждого, кто имел несчастье засветиться. А некоторые, между прочим, светились по-настоящему и ничего не могли с этим поделать. Разумеется, наши тоже не дремали, вот и скрутили этого лба. Бугай держался вызывающе, нагло – впрочем, ребенку было видно, что он хорохорится и сам себя заводит, в то время как в действительности трепещет и содрогается. Здоровяк-леший усадил оздоровителя на земляной пол, одной из лап придержал его за шею, чтоб не вертел башкой, а двумя другими – за плечи, чтоб не встал. Сам же зажмурился. Домовые, стоявшие на часах справа и слева от яслей, взялись за вилы и осторожно подняли мне веки. Ясными, чистыми глазами без намека на смысл я уставился в низкий потолок. Откуда-то сзади донесся коварный скрежет: «Смотри, солнышко, какой нехороший дядя!» Смышленные младенцы – не диво в нашем лесу. Я понял сказанное и скосил глаза к переносице. Звеньевой, похоже, не читал Гоголя и с глупым видом ждал, что будет дальше. Но дальше ему ничего не было, потому что едва его взгляд напоролся на мой, детина сдавленно ахнул и повалился на пол, бездыханный. Домовые с извинительной поспешностью вторично подцепили мои веки вилами, при этом царапая кожу, и я снова погрузился во мрак. За неимением другого занятия, я стал вслушиваться в обсуждение произошедшего. По всему выходило, что топить меня не будут и сохранят для дальнейшего использования в качестве оружия возмездия.

И я остался жить на этом свете, цел и невредим, набираясь сил и ума-разума. Наверно, никого не удивит, что детство мое получилось безрадостным. Ведь если вокруг себя вы видите только дурное, то чему прикажете радоваться? А видел я только дурное – то есть то, на что мне открывали глаза. То, что я созерцал, благополучно околевало, а мне объясняли, что это очень хорошо и правильно, туда ему и дорога, ибо существо, на которое я посмотрел, весьма плохое и лучшей доли не заслужило. Я же, напротив, хорош настолько, что любое зло, представленное на суд моих очей, не в состоянии прожить и секунды и немедленнодохнет, полное раскаяния и сожаления о дне своего рождения.

Такой отравой я питался достаточно долго, но время шло, я задумывался все больше и больше. Хвалебные речи в мой адрес не казались бесспорными. Коль скоро гибнет, не выдержав судного взора, зло – чего бояться добру? Оно, если верить моему окружению, было явлено лично в них во всей полноте, и если это правда, зачем им вилы при общении со мной? зачем они прячут глаза? почему, в конце концов, я до сих пор не видел толком никого из своих доброжелателей, включая родную матушку? Что-то не сходилось, но изменить ситуацию было не в моей власти. Ведь я оставался совершенно беспомощным. Я никуда не мог пойти, видел лишь то, что мне позволяли, и моим уделом оставались одни пространные, навязчивые размышления о смысле жизни и назначении собственной персоны. Я заметил, что кое-что из живого не терпело от моих созерцаний ни малейшего ущерба. Поскольку с миром я все же знакомился: диаспора справедливо рассудила, что зрение мое нуждается в тренировке. Оно могло попросту сойти на нет, окончательно и безнадежно атрофироваться, будучи используемо лишь в случаях расправы над очередным неудобным. Поэтому изо дня в день дежурные по Вию – да, они ввели такую должность, порой именуя меня почему-то постом номер один, – натягивали бельевую веревку и на прищепках вывешивали меня за веки греться на солнышке и познавать белый свет. Я висел, жадно впитывая визуальную информацию, а черти тем временем бродили в окрестных чащобах с трещотками и колотушками, яростным шумом отводя от лиха прохожих ротозеев.

Так вот, повторяю: ничто из того, что открывалось моему зрению, не страдало. Не чахли растения, не гибли животные, не падали камнями птицы, опрометчиво мечтавшие о середине Днепра. Прелести природы не порождали во мне желания слиться с нею в возбужденном просветлении. Бельевые прищепки – не те вещи, что могут украсить жизнь, если ими зажаты пусть уродливые, пусть израненные и намозоленные, но твои собственные веки. Хроническая, непрекращающаяся боль способна исказить любое восприятие. Это неважно, что мне не раз хотелось покончить с опостылевшим пессимизмом и увидеть мир в розовом свете: между тем, что было вокруг, и тем, что я ощущал, возникла прочная связь на уровне подсознания, и никакая добрая воля не могла обернуть дело к лучшему. Позже, без всяких прищепок, в зрелые годы каждое световое раздражение немедленно возрождало глубинную память о прошлых страданиях.

Да и что, если честно сказать, мог я видеть из одного и того же, никогда не менявшегося положения? Однообразный пейзаж с о временем надоел мне так, что я шепотом упрасивал злобное светило выжечь утомленные очи. Я видел гигантские папоротники, налитые ядовитой зеленью. Я тупо обозревал кукурузную рощу, смотрел на водянистые полуметровые грибы. Мимо моего лица, задевая белки глаз крапчатыми крыльями, пролетали стрекозы-мышеловы, жужжали фосфоресцирующие пчелы, создательницы опийного меда. В ненастные дни почва подо мной кишела суставчатыми червями и панцирными жабами, все это чавкало и вздыхало день за днем, месяц за месяцем, год за годом – под аккомпанемент докучливых пища-лок и усыпляющий треск счетчиков Гейгера, а временами – под хищный рокот невидимых летательных аппаратов, что с разведывательными целями зловеще парили в поднебесье. Меня, кстати, пытались использовать в качестве зенитного орудия, но эта затея провалилась, так как лица пилотов были недосыгаемы, и самолеты с вертолетами продолжали хозяйничать в нашем воздушном пространстве.

Случалось, я видел за деревьями и кустарником костры, которые жгли мои соплеменники, и слышал песни. Небогатый репертуар представлял собой мешанину из фольклорных произведений, посвященных местной нечистой силе, и партизанских напевов времен Отечественной войны. Под конец я наблюдал, как причудливые тени опившихся брагой страшилищ медленно раскачиваются, покуда играет гимн – старая рок-композиция, где припевом были слова: «В круге света были мы рождены». Но окончательно пиршество завершалось неизменной «чернобыльской плясовой», бившей все рекорды защитного цинизма.

От случая к случаю я отрабатывал свое содержание – то есть снова и снова созерцал. Меня не знакомили с обвинением – и без того было ясно, что существа, повергаемые предо мной на колени, суть последние выводки и мерзавцы. В основном я истреблял придурковатых стакеров, пробиравшихся в нашу зону в поисках сокровищ. Теперь мне понятно, что их единственным прегрешением было отсутствие видимых анатомических дефектов – не так уж, между прочим, и мало. Но попадались и субъекты вроде того, первого, – таких изводили с особенной изощренностью, для начала срывая костюм, якобы защищавший от радиации. Одного этого было достаточно, чтобы жертва испытала животный ужас. Казнь, однако, только начиналась. Не вижу необходимости вдаваться в детали. Какое-то смутное нравственное чувство, неведь откуда во мне взявшееся, мешало получить удовольствие. Возможно, потому, что я стоял в конце программы и на меня ложилась особая ответственность: ведь я становился последним, что видели эти безмозглые головы, я был их судьей, исповедником и казнителем в одном лице – проще говоря, закономерным итогом их дебильной деятельности. Не знаю. Откуда бы ему взяться, этому чувству? Ведь я загадочен, уникален; не было в мире сообществ тварей, чьи законы могли быть записаны в моем сердце (шестикамерном, как обнаружили врачи, приглашенные отцом Игнатием; две камеры из шести не работали, они просто сокращались вхолостую, ничего не перекачивая).

Случалось, ко мне гнали созданий, в которых заведомо и помыслить-то нечто сродни нравственности казалось нелепым. Какие-то грязные гусеницы, черт-те в чем провинившиеся, мелкие свинорылые птички, непонятно в чем уличенные – они, большей частью лишенные разумного начала, оставались целыми. О моем мнении никто не спрашивал, многие по той причине, что не умели или разучились говорить. Я же старался не допускать к осознанию крамольные мысли о возможной душевной нечистоплотности судей, но суровый опыт в конце концов открыл мне глаза – и вновь буквально.

Оказалось, нас просто жалели до поры – не пропадать же добру, раз так получилось, надо понаблюдать, поднакопить данных. Мы жили на вулкане, нам многое спускали с рук, и все наши грешным делом полагали, что способны противостоять любому нападению и броня наша крепка. Но вот Большой Эксперимент – или одна из его стадий – завершился, и нам пришлось несладко.

Утро началось как обычно: меня вывесили на солнышко, а сами отправились охотиться и побираться. Матушка занялась стряпней, и вскоре я услышал, как ворчат на сковородках капустные блины. Мне говорили, что в былые времена это блюдо практически не готовилось, но я не берусь утверждать, являлось ли капустой то, что мы ели: здоровый такой тонкостенный мешок с множеством хрупких перепонок, деливших его на соты – в них было полно мучнистой пыльцы... Я потому так подробно останавливаюсь на капусте, что сразу, едва блины заворчали, на нас сбросили сонную бомбу. Через несколько минут, когда все в лесу надежно отключилось, кольцо пионеров науки начало сжиматься. По мере продвижения к центру из леса поползли во все концы первые фургончики, битком набитые спящей добычей. Когда пришла очередь нашей опушки, меня поначалу не тронули, приняв за штаны, повешенные сушиться, и, вероятно, так бы и забыли, и я бы высох на солнце до состояния мумии. Но близился час пробуждения: наша землянка располагалась в самом сердце леса, так что все сошлось: и операция закончилась, и действие дурмана пошло на убыль. Послышались первые клокотания с хрипами, экспедиторы заспешили, кутая в сети и сковывая цепями все, что успело необдуманно дернуться. В особо страшных и больших для верности повторно стреляли усыпляющими ампулами.

И вот построили шеренгу зевающих и мотающих головами страшил, скованных друг с дружкой цепями, – в аккурат передо мной. Их уже собрались усадить в специально подогнанный грузовик, когда я проснулся. Получалось, что спал я с открытыми глазами, и взор их был нейтрален и пуст. Но он вдруг вернул себе утраченную осмысленность и бегло прошелся по лицам и рылам стоявших напротив. Была среди рыл и матушка: я сразу ее узнал, хотя до того ни разу не видел, и вовсе не одинокий ее глаз был тому основанием – я узнал бы ее и с двумя глазами, и с согней. В матушкином ответном взгляде не было ни искры гнева, ни тени испуга – только полное понимание и любовь, пусть даже одно мое ухо тихонько, совсем не больно отсохло и шлепнулось на землю. Матушка плавно осела, увлекая за собой остальных праведников – в их глазах не читалось ничего, кроме страха и отвращения, да мне хватило ее одной – пускай она осталась бы даже единственным подтверждением моей способности выживать добро и зло в равной мере, этого свидетельства было бы вполне достаточно для утраты иллюзий. В общем, вся компания мгновенно испустила дух – заодно с парочкой конвоиров, не успевших смекнуть что к чему и уставившихся на меня, как бараны на новые ворота. Новые ворота распахнулись перед ними и явили путь в иные, незнакомые сферы праотцев, к другим баранам. А голос за моей спиной ласково произнес:

«Це ж Вий, хлопци! Шо вы не бачите?»

Сей ученый муж в минуты сильного волнения всегда переходил на ридну украинську мову. Бережным, нежным касанием прорезиненных рукавиц он разомкнул скрепки, поймал меня за веки и осторожно уложил на землю вниз лицом, в грязь и мусор. Я покорно лежал, вспоминая матушку и философствуя в меру сил. «Что же это выходит? – бился я над загад-

кой. – Кто я такой, и где мне место, если все мало-мальски отягощенное разумом прощается с жизнью при первой встрече наших глаз? Был бы я человек – уж тут— то я подобрал бы концепцию. Я мог бы, на худой конец, утешиться верой в осознанное страдание за первородный грех. Но в моем случае – кто страдает? Ведь даже внешне я настолько удалился от прародителей, что сделался кем-то отличным. А что творится у меня внутри, в крови и клетках тела – то вообще страшно представить. Так кем же я являюсь и за что несу наказание? В том, что я страдаю, сомнений нет, ведь я не чувствую ни малейшего желания нести гибель кому бы то ни было. И уж меньше всего хотелось мне погубить матушку. Выходит, нет на мне вины, но я настолько страшен и видом, и даром, что лучше мне замкнуться, оуклится в моей невинной лютости, лучше ослепить себя и не видеть этот немощный мир! До чего же легче людям! Когда их раздирают сомнения в чем-либо и даже сомнения во всем на свете, к их услугам пропасть томов успокаивающего содержания. А в то же время достаточно только разочек увидеть мою особу, чтобы задуматься о пересмотре сфер применения чистого разума, не говоря уж о толковании сновидений».

Тогда-то, лежа в грязи, я, разумеется, не мог мыслить в точности так, как только что изложил. Всякие разные труды и писания я изучил позже и привожу этот краткий внутренний монолог лишь с целью оправдать полученное у отца Игнатия образование. А в тот конкретный момент я, хоть и думал примерно то же, но думал много проще, бесхитростней, на уровне механической фиксации неясных печальных импульсов – какие уж тут увесистые тома! Я попросту не умел читать.

Тем временем научному мамаю угрожал инфаркт – до того он возбудился при виде физического субстрата национальной мифологии. Он бегал вокруг меня, что-то подвизгивая, потом устремился в грузовик, приволок большой рулон какой-то материи и начал упаковывать меня со всеми предосторожностями. Я успел рассмотреть за шлемом его безумное конопатое лицо – мои рассматривания уже не могли ему повредить, ибо, когда я смотрел, он был мертвый и падал в месиво, кишевшее вечно голодными аспидами. Меня же он выронил из рук чуть раньше, в падении я распеленался и таким вот образом сумел на него взглянуть. Из его шеи торчала рукоятка охотничьего ножа – это я тоже заметил, прежде чем меня снова, на сей раз торопливо, кое-как упаковали и пинками покатили, словно мяч, куда-то в сторону.

Первооткрывателя убил некто Вздоев; рассказать, каким он был в жизни, я не берусь, поскольку, как несложно догадаться, видел его в процессе умирания. То был полутруп долговязого, бледного лицом субъекта со снежными полосками закатившихся белков и черной бородкой. А пока он трупом еще не был, я только слышал его голос – всегда приглушенный и возбужденно-озабоченный. Иногда в поле моего зрения вползала волосатая кисть с дырявыми сиреневыми венами и татуировкой в виде перстня на мизинце – от уголовного перстня на все четыре стороны расходились самодовольные лучи. Вздоев был из отчаянного племени чеченских разведчиков-камикадзе, внедренных в каждую мало-мальски перспективную структуру и готовых сложить отравленную гашишем голову за независимость родной Ичкерии. Под видом рядового бойца он проник в карательно-познавательный отряд: те, кто его посылали, надеялись, что рано или поздно щедрая на выдумки чернобыльская земля родит что-нибудь полезное для священного дела сепаратизма. Поэтому смекалистый Вздоев сразу понял, что пробил его час, хотя не успел разобраться в сути явления и в причинах радости своего научного руководителя.

Пока ошеломленные коллеги суетились вокруг сраженного начальника, Вздоев отфутировал меня довольно далеко. За мной тянулся кровавый хвост: меня ранили сучки и острые камни, но этот гад не унимался и продолжал пинать. Наконец мы остановились. Нас окружили какие-то патриоты, Вздоев пустился в разъяснения, излишне часто пользуясь словом «шайтан». Но его головорезы не очень боялись шайтана, потому что, невзирая на неясную, но от того не менее вероятную опасность, они грубо и бесцеремонно подвергли меня унижительным про-

цедурам: окатили чем-то мыльным из шланга, так что я едва не захлебнулся, несколько раз погрузили в злые, едкие растворы, а когда натешились досыта, запихнули в простую хозяйственную сумку. Внутри было душно, мои ноздри забились шелухой от семечек и лука. Пот разъедал глаза и размягчал успевшую задубеть на солнцепеке внутреннюю поверхность век. Я понимал, что в перспективе мне отводится какая-то важная роль, так как Вздоев приковал цепочкой сумку к своему запястью.

Путешествие выдалось долгое – многие часы тряски по ухабистым дорогам, изнурительное ожидание неизвестно чего, поспешный перелет в раскаленный и пыльный горный край. Счет дням я не вел – по всему выходило, что в этом не то кишлаке, не то ауле, пусть их шайтан разбирается в названиях, я пробыл не меньше трех недель. Содержали меня вместе со скотиной, спеленатым и прикованным к железному шесту. С допросом у них не получилось: ну что я мог им сообщить? Не обошлось, конечно, без полевых испытаний. Пригнали десяток оборванцев – снова, ясное дело, каких-то пленных, смотрины закончились как обычно, трупы зачем-то разрезали на куски, а меня ввергли назад в темницу и больше уж не выводили. Правда, стали лучше кормить.

И вот они на что-то решились: меня опять заточили, на сей раз – в просторный контейнер, который поместили в другой, а оба – в третий. Грузовым самолетом, под присмотром неотлучного Вздоева, я вторично пустился в неведомое странствие. Может быть, относительно комфортабельные условия поездки прищпорили стрелки моих внутренних часов. Может быть, я просто вздремнул – как бы то ни было, вскорости мы приземлились. Новое путешествие закончилось в номере-люкс одного из самых шикарных столичных отелей. По крайней мере, там не воняло козлом – поначалу.

Помимо Вздоева в гостиничных апартаментах поселились еще восемь его побратимов. Меня в свои планы террористы по-прежнему не посвящали и вообще держали в черном теле. Кое-что, однако, достигало моих ушей – большей частью фрагменты телефонных переговоров. «Нэт! – кричал как-то раз Вздоев, довольно грамотно разыгрывая близость истерики. – Мы настаиваем на асобых условиях! В рамках пэрэговорнага процесса мы вправэ трэбовать саблудэния пэрваначальной дагаваренности! Только прямой эфир!»

В один прекрасный день они вдруг заспешили. Быстро собрали баулы – в том числе и тот, где был спрятан я, и начали покидать номер по одному с интервалом в четыре-пять минут. Очутившись внизу, расселись в автомобили и ехали около получаса. Потом долго сидели безвылазно, в полной тишине: изучали обстановку, опасаясь подвоха. Наконец, осмелели, гуртом ввалились в какой-то зал, где их ждали и приветствовали с напускным радушием, за которым прочитывалось плохо скрываемое смятение; проследовали в скоростной подъемник под названием «лифт» и вознеслись наверх. Там мы ждали еще минут десять-пятнадцать, после чего распахнулась дверь и я услышал далекое балаганное приветствие:

«Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Пятница! В эфире – капитал-шоу „Поле Чудес“! Сегодня у нас необычная игра. Мы стараемся держаться от политики так далеко, как только возможно, но жизнь диктует свои правила, и быть свободным от общества нельзя. Сейчас, когда отношения с республикой Ичкерия вошли в переговорное русло, мы согласились с мнением чеченской стороны. Это мнение касается неоправданного запрета на участие неприимимой оппозиции в нашем шоу. Идя навстречу пожеланиям гостей, мы, вопреки нашим правилам, находимся сегодня в прямом эфире. Встречайте! Первая тройка игроков – в студию!!»

Тут я разлучился со Вздоевым, к которому, как оказалось, успел привязаться. Он остался за кулисами, а один из первых трех участников подхватил сумку, где я сидел, не смея пикнуть, и поставил уже в павильоне, под круглый стол с рулеткой. Так что я, никогда раньше не видевший ни одной телепередачи, мог хотя бы послушать, о чем идет речь, и получить представление.

Глупая чепуха довольно быстро нагнала на меня тоску. Боевики отгадывали слова, выигрывали призы, передавали с экрана приветы и дарили подарки ведущему. Игроки держались скованно, их лица были мрачны – это делалось ясно по их голосам. Каждому позволили хапнуть призовой телевизор, каждый передал угрюмый привет каким-то разбойникам, ставя в конце обязательное " аллах акбар!» Ведущему подарили сперва бурку, затем – папаху, после – кинжал, пулеметные ленты, священную книгу Коран и опаленный войной неисправный гранатомет. К концу программы ведущий выглядел полным идиотом и, увешанный оружием, очумело пялился на колесо фортуны, где стрелка целеустремленно приближалась к очередному призовому сектору. Ребенку было понятно, что конференсье – разумеется, в рамках переговорного процесса – всячески облегчал участникам жизнь, подыгрывал и подсказывал самым бессовестным образом. Без особых затруднений в финал вышли трое – в том числе и Вздоев, игравший в третьей тройке. С чувством гордости за новоявленную державу были, в частности, угаданы слова «Чингисхан», «выкуп» и «тринитротолуол». Последнее назвал лично Вздоев – два его соперника замешкались, ибо не потрудились узнать, как же именуется то, что они с таким вдохновением и удовольствием взрывают.

Победителем среди финалистов тоже сделался Вздоев. Ведущий с несвойственным ему завыванием осведомился, не желает ли тот сыграть в суперигру. Вздоев желал. Барабан провернулся, и вскоре был объявлен разыгрываемый приз: квартира в Москве. Тут Вздоева прорвало. «Да! – зарычал он, дрожа от темного, звериного вожделения. – Да! Квартиру в Москве!» Вздоев не сомневался, что без него Москва бедна и неказиста. «Каменная куропатка! – объявил ведущий задание и лукаво подмигнул. – С учетом сложности вопроса разрешаю вам открыть три... нет, четыре буквы!» «Статуя!» – взревел Вздоев, ставя ударение на букву «у». Даже я, убогий и неотесанный, с трудом подавил горький смешок, но шоумен – к моему изумлению – воскликнул: «Верно!!», и товарищи Вздоева ответили торжествующим воем, воображая себе квартиру – новый перевалочный пункт для переброски взрывчатки и героина. Сам Вздоев усилием воли обуздал ликование, помня о главной цели телеспектакля. Упреждая ведущего, он вскинул ладонь и грозно зарокотал: «Адну минуту! Мы, являясь упалнамоченными Нэпримиримого Ваеннаго Совета, намэрены провэсти исключитэлную акцию и тэм дабится бэзагаворочнога признания сувэрэнитэта рэспублики Ичкерия! Кромэ таго, нам нэабходимы два миллиона долларов в сотенных купурах на вастанавлэние разрушэнной эканомики. Прамо сэчас мы прадэманстрыруем аружие агромной разрушитэлной силы, извэстное как Вий. Его взгляд срадни пылающему мэчу Аллаха, каторым тот карает нэвэрных. Паэтому лубой, на каго падет испэпэлающий взгляд Вия – дома, на работе, в кабаке – умрет нэ атхадя от тэлэкрана. Смотрите и трэпэщите!» С этими словами Вздоев стремительно нагнул, выдернул сумку из-под стола, схватил меня за веки и рванул кверху. Однако злодейство его провалилось: началась свалка. Зрители, до сих пор визжавшие и рукоплескавшие, все до единого оказались переодетыми сотрудниками спецслужб; они повскакивали с мест, потрясая оружием, и немедленно открыли пальбу. Бахнула какая-то шашка, повалил дым, погасли софиты. Раненый Вздоев ослабил хватку, я упал навзничь и угодил точнехонько в сектор «приз». Мои веки были откинуты, я затравленно глядел в потолок. Наши со Вздоевым глаза встретились. Я не желал ему зла, я мог бы желать, будь я волен повернуть дело так или этак, но исход был предreshен. Взгляд финалиста остановился, челюсть упала, давая дорогу последнему выдоху, и секундой позже безжизненное лицо исчезло из поля моего зрения. Сил моих недоразвитых конечностей было достаточно, чтобы переверачиваться со спины на живот и даже ползком передвигаться. Пальцами левой руки я зажал ноздри, дабы уберечься от газа, правой оттолкнулся и перевалился через край стола, взмахнув в падении веками. Мне повезло: я плюхнулся на брюхо и сразу начал пятиться на четвереньках к двери, подметая веками пол. От меня со щелчками отскакивали горячие гильзы, но я, впервые увидевший возможность скрыться, не обращал на них внимания. Полз я мучительно долго, но суматоха вокруг все-таки позволила мне добраться до выхода

незамеченным и перейти к спуску по лестнице. Я продолжал пятиться, шлепаясь со ступеньки на ступеньку, и вот миновал один этаж, другой... наконец, мне показалось, что стоит рискнуть и заняться поисками убежища. Я был не настолько глуп, чтобы сразу покинуть здание, которое давно оцепили тройным кольцом автоматчиков. Мне нужно было где-то пересидеть сутки или больше – я не знал, сколько. В коридоре, куда я свернул, времени на тщательную разведку не было, я ткнулся в первую попавшуюся дверь и очутился в прохладном, пахнущем хлоркой помещении с кабинками. Мне снова повезло: не успел я проползти и нескольких метров, как дверь за моей спиной распахнулась и кто-то вошел, безмятежно насвистывая. Я, не давая ему времени испугаться, поспешно забубнил наспех состряпанное обращение: «Прошу вас, пожалуйста, спрячьте меня, я безобиден, только не смотрите мне, ради Бога, в глаза, это смертельно опасно. Я все вам объясню, но сначала, заклинаю вас, спрячьте где хотите. Я сделаю для вас все, что в моих силах, я являюсь редким, ценным существом, и вы на этом наверняка сможете хорошо заработать».

Вошедший, выслушав мои слова, сел на корточки и осторожно коснулся моей шкуры пальцем. Во мне зажглась надежда. «Заверните меня в веки, – попросил я скороговоркой, – не спрашивайте ни о чем, просто заверните – и помните, ни в коем случае нельзя смотреть в глаза». Незнакомец после секундного колебания сделал выбор. Он не только укрыл меня веками, но обернул в придачу пиджаком и взял под мышку. Так завершился первый период моего жития – горстка лет, исполненных бессилия, и наступил период второй, сопряженный с тяжелыми размышлениями и поиском правды, но все равно несравнимо лучший. Я про то, конечно же, не знал и только отмечал непривычно бережное к себе отношение. Меня, не смыслия ни капли в том, что я собой представляю, несли как хрупкую драгоценность. Я попал в руки скандально известного отца Игнатия Хоронжина, не так давно лишённого сана за неумное вольнодумство.

Отец Игнатий относился к счастливому меньшинству людей, которые, сочтя свое детство самым интересным, что только могло приключиться с ними в жизни, решили воздержаться от дальнейшего роста. Занят он был обычно тем, что совал свой нос в дела, совершенно его не касающиеся. Где бы он ни оказывался, всюду носился как ракета, без умолку трещал, перескакивая с пятого на десятое и мешая сугубо мирские понятия с невнятными мистическими сентенциями, отражавшими его личный опыт. На последние, хоть и скрепя сердце, но худобедно закрывали глаза в церковной среде, куда, кстати сказать, отец Игнатий сунулся тоже по молодой глупости, из любопытства, а после неожиданно увлекся. Но не стерпели, когда он начал излишне рьяно пользоваться церковными догмами в мутной политической болтушке, проводя демократическую линию – тоже во многом противную православию. При первых признаках потепления он понял участие в политических баталиях как долг перед Всевышним, добавил ночной сновидческой мистики и с той поры не пропускал ни одного общественного шабаша, который удаивался чести быть заснятым на пленку. Он размахивал кулаками, лез в рукопашный бой, ехидничал и ерничал, вникал в любой, пусть самый ничтожный предмет, завладевший его вниманием – и все это кипело под флагом абсолютно не свойственного эпохе романтизма. Терпение отцов-настоятелей лопнуло. Все хотели сделать по-тихому, но Игнатий не замедлил разжечь свару и ославился на всю страну. Лишившись сана, продолжал разгуливать в рясе, за исключением редких дней – вроде того, счастливого для меня, когда был на нем упомянутый пиджак. Иначе бедному расстриге пришлось бы прятать меня именно под рясой, на животе – и, таким образом выглядя как бы на сносях, отец Игнатий мог бы дополнительно быть обвиненным в распространении ереси, ибо намекал бы округлым пузом на андрогинность Христа.

Игнатия Хоронжина привело в телецентр вполне заурядное дело: он принимал участие в какой-то бесконечной дискуссии. Съемка закончилась, и батюшка, вернувшись на землю, поспешил по нужде. Завладев мною, он пришел в неописуемый восторг. Игнатий – человек

просвещенный – сразу понял, с кем свела его судьба, и, к чести его будет сказано, ни на секунду не усомнился в моих способностях. На выходе из здания его попытались задержать и подвергнуть досмотру, но батюшка поднял такой неприличный шум, что его мгновенно опознали и не стали связываться. Отец Игнатий сел за руль «жигулей», меня же положил рядом, на переднее сиденье, что было мне чрезвычайно лестно. Я растрогался и не смог сдержать слез благодарности, а потому, будучи обычным образом спеленат, сделался мокрым весь, словно ненароком обмочился. «Пустое, добрый человек, – успокоил я вострепенувшегося было батюшку. – Кем бы вы ни были – я рад встрече с вами» Игнатий тоже вконец разволновался, проехал нужный поворот и из-за этого долго потом кружил и петлял.

Он привез меня к себе на квартиру. Едва войдя, с неподдельной заботливостью он спросил, не голоден ли я. Я сознался, что да, и даже очень. Тогда опальный слуга Господа осторожно осведомился, что именно я ем. Я назвал ему несколько любимых кушаний, которыми потчевала меня покойная матушка, и он был в замешательстве. То ли он вообще не имел понятия о названных продуктах, то ли не знал, как их следует приготовить. «Поставим вопрос иначе, – молвил поп после паузы. – Не вредна ли тебе обычная человеческая пища?» Я ответил, что точно сказать не могу, ибо в течение последних недель питался в обществе мелкого домашнего скота и то, что давали парнокопытным, мне не повредило. Тогда на свой страх и риск мой спаситель накормил меня яичницей. Судя по волнам, которые от него исходили, он с ужасом ждал последствий, но все обошлось хорошо. Меня разморило, но батюшка сгорал от нетерпения, и я почувствовал, что просто обязан насытить его мальчишеское любопытство. Он обрушил водопад вопросов – некоторые из них были совершенно непонятны. Я по мере разумения отвечал, сонно и томно. Отец Игнатий ахал, метался по комнате, хватал и тут же бросал телефонную трубку. Наконец, он и сам порядком изнемог. Повисло долгое молчание. И я, не заснувший единственно по той причине, что давний и крайне важный вопрос продолжал меня жечь, с замиранием сердца спросил: кем я, по мнению батюшки, являюсь и на что могу рассчитывать в откровенно недружественном мире. Тот смутился и ответил не сразу. «Твой интерес понятен, – сказал он в конце концов. – По двум причинам я не могу ответить прямо сейчас. Во-первых, ты, к сожалению, слишком сер и неразвит, чтобы воспринять некоторые важные понятия. Во-вторых, я и сам покуда не вполне в тебе разобрался, и мне понадобится время. Впрочем, как первое, так и второе с Божьей помощью поправимо. Сегодня отдыхай, а с завтрашнего дня я займусь твоим образованием».

Так оно и вышло. Энергии отца Игнатия хватило бы на несколько семинарий и парочку духовных академий. Я с трудом выдерживал заданный темп, и только память о прожитых в невежестве и душегубстве годах умножала мои силы. Учитель начал – что вполне понятно и прощительно – со Святого Писания, но по ходу дела не забывал и о других предметах – тех, в которых был мало-мальски сведущ. Я знакомился с мировой литературой, философией, психологией и историей – последней больше применительно к астрологии и алхимии. Конечно, много было и политики – порой чересчур. Страсть к преобразованию мира и приближения его к заветному идеалу еще не угасла в батюшке. Его ежедневно посещали различные деятели, по мне – все на одно лицо, хоть я не видел лиц. Особо надежным батюшка показывал меня, что в конце концов привело к печальному финалу, но о том – позже.

Внутренне я сильно изменился, но главное по-прежнему таилось за семью печатями. Мой дар не позволял мне числить себя среди простых смертных – стало быть, все их мерки тоже не очень мне подходили. Дело было не в физиологии. Что до нее, то связи отца Игнатия оказались довольно обширными: в первые же сутки меня с головы до пят обследовали доверенные медики не ниже профессора рангом. Из меня отсосали пробы всех имевшихся жидкостей, там и сям отстригли и выбрили, проверили счетчиком Гейгера, сняли не меньше двух десятков всевозможных «грамм». Результаты ясности не добавили: химические процессы, присущие мне, и внутреннее устройство не имели аналогов, но тем не менее умещались в рамках современных

естественнонаучных взглядов. После того, как меня в сотне ракурсов запечатлели на фото— и видеопленке, последовало предложение: мне рекомендовали подвергнуться косметической операции, которую, ввиду исключительности дела, готовы были произвести бесплатно. Я раздумывал недолго и дал согласие. С веками пришлось повозиться, так как обнаружилось, что они суть не просто кожа, но соединены с глазницами суставами. Поэтому эскулапы в течение нескольких часов вылущивали, ушивали и шлифовали, а веки поместили в спирт и свезли в какую-то кунсткамеру.

Впервые в жизни моя кожа беспрепятственно дышала. Глаза прикрылись очками с простыми стеклами, сплошь замазанными черной краской. «Вылитый Абадонна!» – крикнул отец Игнатий, когда дело было сделано. Я не понял, и он объяснил, а чуть позже и прочел немало интересного об этом типе и тем прибавил мне забот – что, если правда? Впрочем, батюшка называл меня всяко: чаще всего размягченно и трепетно мычал: «Ча-а-до!» – при этом, восседавая на диване, он обнимал меня своими ручищами и раскачивался из стороны в сторону.

Не помню уж на какой стадии моего просвещения отец Игнатий заключил, что я уже достаточно развился и могу посетить Божий храм. Он всерьез подумывал меня окрестить, тогда как я не был уверен в такой уж необходимости этой процедуры. Мы отправились, специально выбрав час, когда храм был почти пуст – Игнатий намеревался устроить пробную, так сказать, экскурсию и взвесить мою склонность к религии на месте. Мы смотрелись забавно, потому что батюшка катил меня в детской коляске. На первых порах я был вынужден прогуливаться именно в ней, так как заказанное кресло на колесах, с моторчиком, еще не успели изготовить. Здесь санкционированная свыше богооставленность Игнатия сыграла ему на руку: хорош бы он был в рясе, толкающий коляску перед собой! Но, лишившись сана и надевая рясу в мирских учреждениях, в церковь он ходил как простой мирянин.

Мы были в превосходном настроении. Нимало не настроенный на высокопарный лад, отец Игнатий шутил, делал мне козу и предлагал соску, а я в ответ, стоило нам с кем-нибудь поравняться, подавал голос и басом изрекал нечто глубокомысленное. Учитель помирал со смеху, а я не останавливался и сосредоточенно гугукал, чем доводил озорного батюшку до колик. Дул холодный ветер, верх коляски был поднят. Глядя поверх очков, я мог видеть брюхатые тучи, которые раздраженно и неуклюже спешили куда подальше. Я не мог отделаться от чувства, что бег их так или иначе вызван страхом перед робким, доверчивым взглядом диковинной твари, с высоты тучьего полета казавшейся даже не букашкой, а точкой.

Добравшись до места, мы выждали немного, дабы настроение наше стало более торжественным. Отец Игнатий взял меня на руки, скрыв, как мог, мое лицо в пеленках, усадил на согнутое левое предплечье, словно обезьянку, и перекрестился правой рукой. Мы вошли внутрь. Было прохладно, сумрак вкрадчиво дышал ладаном. Отец Игнатий следил за мной, пытаюсь определить, какого рода воздействие оказывает на меня сей запах. Удостоверившись, что ни малейшего воздействия нет, он приобрел свечку и направился к какому-то образу. Оглянувшись несколько раз по сторонам, Игнатий шепотом велел мне снять очки и взглянуть на икону. Народа в храме было мало – несколько человек, понуро стоявших вдалеке от нас. Я осторожно высвободил тонкую, слабую лапку и снял очки. Огонь свечей не был ярок, но глазам все равно потребовалось время, чтобы привыкнуть. Наконец я смог различить двухмерное маслянистое лицо. Святой, воздев персты, строго и многозначительно взирал на меня. Но так продолжалось недолго. Две вещи случились одновременно: над моим ухом ахнул отец Игнатий, а по суровому лику потекли прозрачные сверкающие струйки. Учитель резко развернул меня лицом к себе, и я чуть не опоздал с очками – замешкайся я на секунду, он упал бы, опаленный моим бессмысленным гневом. «Образ прослезился», – молвил отец Игнатий благоговейно и стал отступать к выходу, не сводя глаз с плачущей иконы. Я понимал, что произошло нечто необычное, но переживал что-то похожее на сожаления щенка по поводу сделанной лужи. Мы покинули церковь и по пути домой не сказали друг другу ни слова. Дома отец Игна-

тий осторожно высадил меня на диван, сам же сел напротив, закинул ногу на ногу и погрузился в раздумья. Я угрюмо созерцал паркет, механически отмечая покачивание ботинковой туфли. Наконец Учитель очнулся и произнес: «У меня есть только одно объяснение. Ты наделен редчайшей, губительной способностью проникать в суть вещей. Иными словами, ты можешь видеть в человеческих душах самое главное, самое сокровенное – то, что все без исключения стремятся скрыть от посторонних. Человек устроен так, что не в силах вынести вторжения в тайные глубины. Он защищается инстинктивно, и не в его власти самостоятельно решить, открыться ему или оставаться в убежище. Ты же своим взором ломаешь все барьеры и вытаскиваешь его достояние наружу, чего никто не способен стерпеть». «Почему же тогда я там, внутри, ничего не вижу?» – спросил я в недоумении. Игнатий негромко отозвался: «Да, это вопрос. А ты уверен, что и вправду не видишь? ни капельки?» «Совсем не вижу, – я печально покачал головой. – По-моему, там ничего нет и никогда не было». Батюшка перекрестился. «Возможно, тебе и не надо понимать, что ты видишь, – предположил он. – Возможно, хватает одного лишь проникновения как такового. Тот, на кого ты смотришь, ощущает, что пробита брешь, и ему этого чувства достаточно, чтобы проститься с жизнью». Я мог бы пожать плечами, но не был приучен к такому жесту и только неопределенно взметнул кустистые брови. «Как же поступим с крещением?» – спросил я осторожно. «Боюсь, что никак, – это признание далось отцу Игнатию с видимой мукой. – Я не нахожу в себе отваги стать духовным отцом личности, которая может заставить икону заплакать». «Получается, что все-таки я не здешний? – допытывался я. – Не вашего племени, не ваших богов?» «По образу и подобию, как и все мы», – отец Игнатий даже повысил голос, но за напускным гневом я слышал растерянность и сомнение. Добрый Учитель не желал меня огорчать; я понял, что нет смысла возвращаться к этой теме впредь, и жизнь наша пошла своим чередом. Разве только народилось непонятное убеждение в обязательном скором конце всей этой идиллии. А пока я продолжал совершенствоваться в науках.

В один прекрасный вечер отец Игнатий читал мне, как обычно, Писание – мы добрались до пророка Исаяи. Я, внимавший ему поначалу довольно равнодушно, вдруг услышал нечто, ужалившее мое ухо подобно ловкому насекомому: «... Но ты отринул народ Твой, дом Иакова, потому что они многое переняли от востока: и чародеи у них, как у Филистимлян, и с сынами чужих они в общении». «Как-как? – переспросил я. – Что это за сыновья чужих, Игнатий?» Он ответил мне с подозрением в голосе: «Бог их ведает. Возможно, какие-то Моавитяне или кто еще. А в чем дело?» Я отстраненно пробормотал: «Но зачем они помянуты наравне с чародеями? Не об одном ли и том же грехе идет речь? Я имею в виду общение с волшебниками и... с кем-то вроде них». «Эк куда тебя заносит! – удивился батюшка и полез в какие-то комментари. – Ничего не сказано, – сказал он разочарованно, перелистав с сотню страниц. – Но я обязательно разужнаю у наших грамотеев». И он стал читать далее, но я слушал невнимательно.

Надо признать, что течение наших занятий несколько изменилось. Я больше не был пассивным слушателем и часто своими вопросами ставил Игнатия в тупик. Он же, не зная, как ответить, раздражался и указывал, что я волен сочинять что угодно – все равно о высших предметах ничего нельзя сказать наверняка. Тогда я прекращал расспросы и начинал именно, как он выражался, сочинять: что, к примеру, будет в конце времен, когда Бог обнажит все сущности, если даже мой взгляд валит людей с ног. Не иначе как придется Создателю закрыть глаза на все прегрешения и, не вникая в дело, простить всех скопом (я был приятно удивлен, услышав, что я не первый высказываю подобную ересь и можно назвать целые течения, приверженцы которых мыслят соответственно).

Пожалуй, мне нет смысла излагать свои богословские соображения. Все равно я – не знаю уж, каким чутьем – понимал, что все это – не мое, а значит, какая разница, что я там выдумал? Время шло, и у меня не оставалось сомнений в скором прощании с гостеприимным домом. И вот произошел инцидент, о котором я выше обещал рассказать. Представитель одной

из политических партий, бесстыдно использовавший доверчивость моего благодетеля и всячески маравший его доброе имя на своих поганых митингах, исхитрился пронюхать о моем существовании и явился ко мне с наглым, развязным требованием поддержки во всех начинаниях. То был первый случай, когда я, по причине общей усталости от жизни, сознательно, ничуть не ощущая себя грешником, выпустил джина на волю. «Я надеюсь, что мы вместе, рука об руку, смело взглянем в глаза нашим проблемам», – заявил этот напыщенный болван. «Ваша проблема – это лично вы как особь, – возразил я ему. – Вы хотите, чтоб я взглянул вашим проблемам в глаза? Отлично, я готов». Когда прохиндей с разорвавшимся сердцем грохнулся об пол, мы с Игнатием осознали без слов, что дружба дружбой, а табачок – врозь. Учитель страшно боялся задеть мои чувства и не смел указать мне на дверь, однако и терпеть губителя в собственном доме не желал. Я облегчил ему жизнь, покинув квартиру на рассвете, не обмолвившись о своих планах ни единым намеком. Мне остается лишь надеяться на мудрость батюшки – да не позволит ему его Бог ожесточиться и обидеться.

Я выехал, сидя в прекрасном, безотказном креслице с моторчиком и колесами. Оно было так устроено, что даже по лестнице я мог в нем спуститься без всяких хлопот. Я был одет вполне цивилизованно, и мое появление на улице никак не могло породить переполох – ну, урод, ну, урод редкостный, каких мало – только и всего. В руках я сжимал тонкую легкую трость, выкрашенную в белый цвет: надо же было как-то объяснить темные очки, да и дорогу мне уступали и помогали всячески, стремясь добрым поступком искупить свое невольное отвращение. Я не имел ни малейшего представления, куда направляюсь, и полностью положился на интуицию. Она-то и привела меня на вокзал, где я въехал в захарканый тамбур электрички.

Устроившись в отведенном для инвалидов тесном закутке, прообразе возможного гетто, я сделал попытку полностью отключиться и мысленно унести в никуда. Поезд тронулся, и тут же мне стало ясно, что воспарить над реальностью не удастся. По вагону без конца шастали какие-то коробейники, и за полчаса езды я потерял им счет. Были косноязычные газетчики («Веселый поршень» – издание для мужчин, можно подержать, полистать и даже приобрести), продавцы мыла и мороженого, ряженые калеки, контролеры (ко мне не подошли), проповедники и пилигримы. Они так мне осточертели, что я готов был лишиться последнего уха – лишь бы не слышать их околесицу. «Может быть, зыркнуть?» – всерьез подумывал я. Тут в очередной раз простучало слева (я сидел возле раздвижных дверей), и краем глаза я зафиксировал наличие в вагоне двух безобразных размалеванных клоунов. Подобно огнедышащим драконам, они гнали впереди себя убийственную сивушную волну. Тот, что повыше ростом, стриженный под горшок, был при гармошке, а его апоплексический напарник угрожающе помахивал треснувшей балалайкой. Дылда резко поклонился, откинул упавшие на глаза соломенные волосы и заревел: «Граждане пассажиры! Извиняйте за очередное беспокойство! Мы – бедные инопланетяне, наш корабль потерпел аварию, и нам нужны средства на капитальный ремонт! Кто чем может – помогите, а мы за это исполним для вас композицию „Звездная братва“!» Гармонь расползлась, и гастролеры заблажили что-то столь же боевое-блатное, сколь и нескладное. Никто не обращал на них внимания, но многие просто делали вид, что не замечают, так как, стоило артистам откланяться и пойти с протянутой шляпой, в последнюю кое-что нет-нет, да и падало. А меня их концерт чрезвычайно возмутил – трудно сказать, чем конкретно. Вероятно, мне стало обидно, что вот же бродят иные уроды по жизни и не видят в том ничего зазорного, и даже довольны. Я завел моторчик, выехал из укрытия и пустился в погоню. Пока я ехал, в меня летели медяки и ветхие мелкие купюры.

Мне никак не удавалось обогнать разухабистую парочку и развернуться, из вагона в вагон повторялась одна картина: я, раздраженный, маюсь в тамбуре и жду, когда они соизволят двинуться дальше, а шуты гороховые между тем продолжают паясничать. Я видел их со спины: мерзавцы ломались и изгибались, топя сбитыми сапогами. Меня бесило в них решительно все;

когда мы добрались до головного вагона, я чувствовал себя готовым на что угодно. Парочка выкатилась на перрон, я соскользнул следом. «Эй, постойте-ка! " – крикнул я звонким, гневным голосом. Скоморохи оглянулись и замедлили шаг. Вид у них был снисходительный (я сужу исключительно по видимым мне ногам, небрежно раскоряченным). «Инопланетяне, да? – спросил я, подъезжая. – Тарелка разбилась?» «Да нет, целехонька, – насмешливо отозвался тот, что был пониже. – Желаете взглянуть?» «Очень желаю взглянуть», – сказал я в ответ и снял очки. Теперь я убивал сознательно, без тени сожаления и вполне, как я считал, свободно в смысле воли. И тут случилась едва ли не самая фантастическая вещь в моей жизни: никто не рухнул, оба стояли живые и невредимые. Лица их и вправду выражали насмешку. «То есть как это? – пробормотал я, не веря своим глазам. – Но это невозможно! Этого не может быть!» С физиономии дылды слетела улыбка. Он протяжно свистнул и шлепнул компаньона по задку, выбив облачко пыли. «Никак нам поверили!» – изумился он и шагнул мне навстречу. Я вовремя заметил, что так и сижусь без очков, а перрон отнюдь не безлюден – я поскорее усадил на нос свой траурный велосипед и быстро предложил: «Нам просто необходимо отправиться в какое-нибудь укромное место и все обсудить. Я очень рассчитываю, что вы не будете против». Они не возражали, и несколькими минутами позже мы удобно расположились в очаровательной рощице – хотя мне, привыкшему к буйному генетическому разнообразию, она показалась слишком однородной.

«... Так вот и живем», – высокий с хрустом потянулся и жизнерадостно осклабился. «Да, – подхватил его товарищ (имен их, чересчур замысловатых, я не помню). – Публика здесь, правда, ужасно равнодушная – абсолютно никто не задумывается над нашими словами. Глаза пустые, ни следочка мысли... Но, заметьте, подают! А мы то там прошвырнемся, то здесь – глядишь, на жизнь и соберем. Ну, еще статейки посылаем – в „Аномалию“, „Мегаполис-экс-пресс“, „НЛО“. Берут охотно».

Я плохо воспринимал их рассказы, важнее прочего для меня было уяснить, почему они остались в живых. Этот вопрос обжигал мне язык, я задал его при первом же просвете в сплошном потоке их болтовни.

Поначалу они не могли взять в толк, о чем идет речь. Я в изнеможении растянулся на траве – неужели придется рассказывать все, начиная с рождения и даже раньше? Но чужие сыны – нет сомнений, что то были они – проявили живейший интерес к моей беде, и я приступил к изложению основных событий. Где-то в середине рассказа высокий хлопнул себя по лбу: «Э, да это же совсем просто! Вы попросту ломаете скорлупку, а в вашем мире это действие ведет к необратимым последствиям». Видя глупое выражение моего лица, он пояснил: «Ну, вся штука в том, что ваше божество, которому иногда – весьма проникательно – приписывают свойства Ничто, любит рядиться и рядить все разумное в материальные одежды. Вы когда-нибудь видели, как разбивается лампочка? Здесь что-то похожее: вы с вашим взглядом пробиваете брешь, и внутренний вакуум мгновенно заполняется то ли энергией, то ли уже материей. Мы, в отличие от вас, сделаны из другого теста. Наш главный любит наоборот: чтоб содержание было, а форма – нет. Мы двое... как бы это назвать... – дылда пощелкал в затруднении пальцами, – нечто, скажем, среднее между йогами и безнадежными наркоманами... нам, короче говоря, нравится обретать форму так же, как некоторые из ваших озабочены поисками сути. Но в нашем мире таких фокусников не жалуют, вот мы и свалили сюда. Здесь нам совсем не плохо, и мы подумываем, не остаться ли с вами насовсем». «Стало быть, у ваших нет никаких пустых скорлупок? – произнес я медленно, пытаюсь переварить. – Нет скорлупок, формы... одно содержание. Но... тогда – как же?» – я указал на них пальцем, потом для верности ткнул им в балалайку. «Мирская практика, – сказали они хором. – Аналог того, что у вас именуют практикой духовной. Вот, смотрите», – с этими словами они сняли шляпы, сбросили парики, затем – сами головы, и под конец вовсе рассыпались: передо мной валялось рваное шмотье, и больше ничего. «Подождите, не исчезайте! – вскричал я. – У меня еще остались кое-какие

вопросы». Разбросанные как попало штаны, сапоги и рубахи плавно взлетели, головы наделись на шеи. Я восхищенно отметил, что они поменялись местами. На плечах коротышки скалилась патлатая голова дылды, а шишковатый коротышкин череп со всеми своими мясными щекастыми излишествами блаженствовал на двухметровой высоте. «Видишь, как здорово? – обратился ко мне длинный гибрид. – У нас за такое заработаешь по онтоосу. Дескать, и ересь, и неприличие, и даже есть статья в уголовном кодексе».

Мы задушевно беседовали еще около часа и немного выпили – что до меня, то я пил впервые в жизни, а они, похоже, занимались этим с самой высадки на Землю. Я слегка охмелел и стал жаловаться на одиночество: из их рассказов вытекало, что хоть они и чужие сыны, да мне не братья, и их папаша вряд ли будет рад меня усыновить. «Не печалься! – они ударили меня по спине. – Мы, пожалуй, дадим тебе корабль. Нам он больше ни к чему, мы точно решили остаться. Ты можешь лететь на нем куда угодно и сколько угодно, хоть всю жизнь. Глядишь, и встретишь где-нибудь своих – кто знает!»

Я задумался и долго молчал, не торопясь с ответом. Внутренний голос нашептывал мне, что должно же найтись во Вселенной нечто, отличное от пустых форм и бесплотных сущностей. Я поднял глаза к небу и увидел там плод необычной игры природы: зыбкий, сверкающий круг света. «Что там за знамение?» – спросил я у пришельцев, показывая на небеса. Те пожали плечами. «У знамений тысячи толкований, – сказал высокий. – Так что выбирай себе любое». «В самом деле, – подумал я. – Почему я обязательно должен оказаться неправ?» А вслух я сказал им: «Лечу», и зашвырнул в крапиву темные очки. Меня перестало заботить, лопнет ли моими стараниями очередная пустышка, или опять подвернется какой-нибудь неоформленный гуманоид.

Доморощенные еретики отвели меня к своему кораблю, спрятанному в овраге. Я поинтересовался, как им управлять, но маленький беспечно махнул рукой: «Там есть книжка, где все написано. Не тревожьтесь – справится каждый дурак». Они подхватили меня прямо с коляской и внесли в открывшийся проем. Панель за моей спиной опустилась: слишком, на мой взгляд, поспешно – возможно, в глубине души они жалели корабль и боялись передумать.

Я направил его в самый центр небесного круга и вылетел в черную ночь, словно цирковой лев сквозь пылающий обруч. Облеченный знаниями, которые ни капли мне не помогли в самом главном, я неохотно признавал, что вряд ли мое странствие увенчается успехом. Меня отовсюду прогнали, меня никто не хотел знать за то, что я по чьему-то капризу сочетал в себе и форму, и суть – чересчур ужасные, чтобы вынести их соседство. И все же, почти не сомневаясь в плачевном исходе, я продолжаю искать приключений на свою голову, гляжу в стекло иллюминатора и вижу все ту же пустоту. Ее маскирует лишь одно – мое прозрачное отражение.

© июнь – август 1997

Далеко-Близко

1

Ночь осторожно разбавилась светом, но дому было все едино – что свет, что тьма. Даже самый распогожий день превращался в робкого просителя, напрасно томящегося у парадного подъезда, каковой подъезд, понятно, никаким парадным не был, вел в какой-то подозрительный полумрак, предлагая визитерам любую из десяти квартир на выбор, благо внутри разница была невелика. Такая уж развелась публика. Средний доход, коммунальные помыслы, плодово-овощные интересы, окна – во двор-колодец, небо – с овчинку, овчинка – не стоит выделки.

В одной из осчастливленных утром, но неблагодарных комнат царило особенное затишье. Свет напрасно пытался пробраться за шторы, повешенные годы тому назад и с тех пор ни разу не раздвигавшиеся. Повсюду лежала пыль – где пока еще рыхлая, пушистая, где уже спрессованная в липковатый налет. Не было ее лишь на книгах, потому что их иногда читали. Ответная им этажерка являлась, если не считать стулья, первым из трех предметов мебелировки. Вторым был круглый стол. А третьим – вместительный древний сундук в железных поясах и с зеленым вензелем, смысл которого был давно утрачен людьми, и теперь секрет знал только сам вензель.

С приходом дня в сундуке началась приглушенная возня. Там, внутри, что-то вкрадчиво пошебуршало, стукнуло и деликатно откашлялось. Потом снова затихло. Через минуту в крайнем из четырех отверстий, просверленных сбоку, возник глаз и какое-то время напряженно изучал пасмурный мир. Затем око скрылось, и, после секундной паузы, тяжелая крышка сундука дрогнула. Она стала медленно откидываться, толкаемая бледной длинной ногой в шерстяном носке. Обитатель сундука действовал с предельной осмотрительностью. Было ясно, что он стремится избежать всяческого шума. Квадрат стены, соседствовавший с сундуком, был умышленно обит войлоком для смягчения удара. Несмотря на эту предосторожность нога, когда крышку сундука стали отделять от стены считанные сантиметры, видимо напряглась. Обозначились голубые вены, движение замедлилось – и – несильный толчок – крышка, выйдя из-под контроля, одолела мизерное расстояние и с еле слышным хлопком уткнулась в войлок. Нога, не расслабляясь, замерла в воздухе и нервно выжидала, затем облегченно улеглась обратно в сундук. После этого выпавшийся хозяин сундука сел.

Был то молодой субъект по имени Карп, лохматый донельзя, с пушистыми усами и почти что с бородой, ибо уже несколько дней он не брился. Лицо выглядело, как и положено поутру, заспанным, но глаза Карп не щурил по причине обычного для его жилья сумрака. В них застыл ужас, но постепенно это чувство таяло, уступая место благостной расслабленности. Карп глубоко, с наслаждением вздохнул и медленно погладил сундучий бок, наливаясь убежденностью в прочности убежища и общем благополучии вокруг. Не так давно ему случилось хлебнуть лиха по милости спятившей соседки – существа, которое Карп, повстречай на улице, и не признал бы, поскольку мало интересовался другими существами. Однако вмешался случай – что другое могло поселить в одной квартире сразу двух индивидов с необычной склонностью укладываться на ночь в сундук? Фантастическое совпадение, но бывает и не такое. Разделяла их жалкая фанерная стена. Правда, причины, побуждавшие соседей поступать ночами именно так, а не иначе, были различные. Женщину страшно донимал шум: человек, живший этажом выше, обувался в тяжелые ботфорты с подковами и шпорами, делая это нарочно, с единственной целью топтать до третьих петухов и мешать ей спать. Соседи снизу отличались еще большим коварством: с наступлением ночи они напяливали высокие шлемы с длинными острыми шипами на темени и начинали прыгать, метя остриями в потолок, стремясь досадить ей

посредством сотрясения паркета. В комнате слева родилась мода на шумные молебны в честь Верховного Космического Существа. А в комнате справа – как раз в той, где завелся Карп — в последнее время пустились в отчаянный загул. Еженощные оргии и дебоши становились все более неуправляемыми и требовали принятия мер. Милиция уже привыкла к жалобам жертвы и не спешила возбуждать дело по факту явления Космического Существа, но на сигнал о дебошах пришлось отреагировать. Наряду при виде спального ложа жалобщицы все стало понятно, незамедлительно была приглашена другая, более компетентная служба. Ее сотрудники согласились увезти хозяйку в местечко поспокойнее. А заодно – для очистки совести – заглянули и к соседу, где с изумлением обнаружили почти такой же сундук. Его владельца, до того мирно спавшего, решили, нарушая мелкие формальности, захватить от греха подальше с собой. И вот, совсем недавно, его вернули обратно домой, уверившись в полной безобидности Карпа и вынеся вердикт: опасности для себя и окружающих не представляет и при желании лечиться может делать это амбулаторно. Время, проведенное Карпом вне скорлупы в обществе мычащих, замкнутых на себя созданий, вспоминалось ему лютейшим адом. Лишенный возможности скрыться надежнее, чем под тонким байковым одеялом, он, оказавшись сродни улитке без раковины, переживал нестерпимое иссыхание водянистой плоти. Карп любил одиночество, любил прятаться, делая это постоянно, сколько себя помнил, и стремление это главенствовало в его жизни. Он попытался проделать такую штуку и в больнице, едва его привезли, но не на тех нарвался, был мгновенно обнаружен и заработал укол, спрятавший его на всю ночь в колючие, мрачные пропасти лекарственного небытия.

Но все завершилось хорошо, и Карп снова очутился дома. Он с надлежащей серьезностью поблагодарил Бога за причиненное зло, подарившее ему радость контраста. Потом взялся за работу. Комната за стеной пустовала, и можно было предположить, что ее обитательница так легко не отделается, но Карп, прилаживая войлок, не посмел пустить в ход молоток и гвозди, опасаясь ненужного грохота. Обливаясь потом и временами беспричинно вздрагивая, он вручную проковырял дырочки, приложил войлок и ввернул шурупы. Он трудился долго, потому что не знал, какими еще путями он может повысить свою безопасность, и прибегал к лукавству, растягивая время и создавая видимость действий.

Теперь, когда все было сделано, пришел черед размышлений. Ничто не мешало сидеть в сундуке и, будучи отныне знакомому с нестойкостью тишины и спокойствия, медленно и вдумчиво присягать на верность уходящим секундам, пробуя на вкус и на ощупь свое блаженное «здесь и сейчас», улавливая его летучий запах, запечатлевая в памяти его изменчивый облик. Кто знает, что принесет с собой «завтра», и он, быть может, с горечью припомнит, как не ценил, не понимал, не благодарил. Однако вскоре строй мыслей Карпа был нарушен. Две актуальные темы бесцеремонно растолкали группку бесхитростных образов и вылезли на первый план. Первую, по причине ее исключительной важности, Карп отложил для более тщательного обдумывания. Она касалась события почти невозможного, и Карп до сих пор не мог оправиться от первоначального потрясения: его угораздило влюбиться. Вторая тема также в немалой степени возбуждала Карпово воображение. Дело шло о новой, недавно созданной городской службе. Она называлась «Десница Губернатора».

2

«Тереза, но это же твой брат!»

«Нет, Эмилия, это мой муж!»

Дверь распахнулась. На пороге стоял лучезарный тип в белом костюме и чалме.

«О, раджа, как я счастлива!»

«Любимая Тереза...»

Зоя Наумовна позабыла о чае «Липтон» и прикипела к телевизору. Она растворилась в интересном мире гунявых красавцев и нелепых экзотических сцен. Сериал «Любовь магараджи» заканчивался, о чем Зоя Наумовна глубоко сожалела. Но ее успокаивало существование еще и других сериалов, да впридачу новый, обещанный с понедельника. Он назывался «Судьба набоба». Зоя Наумовна плохо представляла, кто такой набоб, но интуитивно предчувствовала развитие индийской тематики. «Может быть, это будет продолжением „Любви магараджи“?» – мечтала она размеренно и обстоятельно. Вероятность того виделась весьма высокой.

Тихо затрещал будильник. Звонок напоминал Зое Наумовне о двух делах. Во-первых, ей пора было пить стугерон. Во-вторых – собираться на новую работу. Зое Наумовне недавно исполнилось шестьдесят три года. Раньше она работала контролером, потом вышла на пенсию, а сейчас, на новом месте, тайно вынашивала – поскольку платили ей очень хорошо – намерение сделать приобретение, неслыханное в ее среде: видеомагнитофон, и с его помощью навсегда уйти под расписные своды дворцов магараджей и набобов.

И вот она сбросила фланелевый халат и осталась в просторных панталонах и розовом исполинском лифчике о девяти застежках. Бюст у Зои Наумовны перетекал непосредственно в пах. Лямки, бретельки и резинки тонули в валиках желтой кожи. Зоя Наумовна напудрилась, подвела губы помадой и облачилась в пятнистый комбинезон. Затянув ремни, она повращалась перед зеркалом, где тотчас ответно колыхнулся бравый шар. В нагрудных карманах Зоя Наумовна разместила пластинку стугерона, очки, радиотелефон, кошелек и мозольный пластырь: непривычные высокие башмаки причиняли ей неудобство. Затем она сняла с гвоздя короткоствольный автомат. Этот тип оружия она выбрала по причине слабой отдачи: Зоя Наумовна болела хондрозом. Положив автомат в сумку, она застегнула молнию и вышла из квартиры. А у подъезда ее ждал броневик с изображением семипалой ладони на дверце.

Психологическая совместимость членов бригады учтена фактически не была. Все готовилось тяп-ляп, наспех, в угоду конъюнктуре. Засевший в глубинах броневика омоновец Чибис, профессиональный громила-законник, старался сохранить лицо непроницаемым, дабы ненароком не выразить истинное отношение к Зое Наумовне. Она же в свою очередь оказалась чрезвычайно дисциплинированной, никогда не опаздывала и жила, как нарочно, в двух шагах от базы. Поэтому броневик всегда забирал ее первой, хотя Чибис предпочел бы иную очередность. Находиться с нею тет-а-тет предстояло не более двух-трех минут, но Чибису и того было много. Нынче он, не найдя возможности уберечься, познакомился с судьбой Терезы и магараджи. Мир заволокло красным, и Чибис не заметил, как броневик тронулся в путь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.